

* * *

О, как непоправимо хорошо:
московский май, и улица Тверская
течёт рекой, и кажется, что края
ей нет. Вот серый вход в метро,
вот ветер, что терзает триколор,
твоё лицо и отпечаток речи.
Я всё это приму и засекречу.
И эту лестницу, и этот светлый двор,
и парапет, и стены, и тебя —
московского, престранного, чужого.
Любовь, она почти что как изжога,
такое же сокрытие огня
под кожей, под одеждой, под строкой.
Залить вином, но это полумера.
О, то ли дело дуло револьвера...
О, как же хорошо гулять Тверской
и говорить, и говорить, и ждать
ответа ли, отъезда ли, прощанья.
Любовь. Она — всё то же обнищанье,

её мне выкупать и выкупать
из рук старьёвщика, из лап дельца,
у строгого банкира, у торговок,
у продавцов газетных заголовков
на пятакке Бульварного кольца.

* * *

Не просто город, а мегаполис,
кипучий улей, металл по пояс,
сплошные спуски и переходы.
Привет, прохожий, я из народа.
Какие флаги, какие лица,
двуглавы птицы твоей столицы,
двулики люди моих окраин,
налево — Авель, направо — Каин.
Раскрой объятья, подуй на веки,
мы все железные дровосеки,
нам всем бы масла — спасти суставы.
Столица, птицы твои двуглавы,
а эти звёзды подобны солнцу,
и этот парень, что на червонце,
лежит безмолвно почти столетье
в костюме, туфельках и жилете.
И караульный такой же сонный
зевает в руку — смешно и скромно.
И Кремль красный, кирпичный, ржавый —
остов истории и державы —
кольцует город кремлёвским кругом,
кольцом, надетым на перст супруга.
Здесь всё воздвигнуто и воспето —
сезоны, линии, сны, предметы.
И даже пальчики чужеземки,
что робко держат жетон подземки.

* * *

Твой превысокий град семи холмов,
и небо в благородной серой дымке.
Как чуден звон его колоколов
для слуха кареглазой украинки.
Как невесом и полон волшебства
хрустальный воздух православных буден.
Под сенью золотистого креста
на царство мы помазанными будем.
На царство совести — спаси и сохрани
Замоскворечья хрупкие пределы.
Во мне так много песен о любви,
во мне так много песен наболело.
Твой град студён, как первый снег в горсти,
такой же белый, светится, искрится.
Я лягу здесь стихами и костьми
в московскую священную землицу.
Я прорасту цветами и травой
под серым небом, под неярким светом.
Ко мне придёт какой-нибудь живой,
как я к тебе, с приветом и ответом.

* * *

Всё изнаночно и разъято
в этот вечер московской осени.
Мы идём с тобой по Арбату:
я — с глазами преданно пёсими,
ты — с глазами, в которых небушко —
бирюза старорусской были.
И луна, что краюха хлебушка, —
всё поэтическое изобилие, —
над Арбатом висит лупатая.
Сочини эту книгу, просится,
не всю жизнь же прожить разъятыми,
как два стёклышка — переносицей.

* * *

И кажется, это не роща вдали, а подводная лодка
плывёт в степи под Ростовом. Поджав к подбородку
колени, гляжу, как она своим атомным торсом
плывёт по полям, и посевы озимые ворсом
щекочут ей нежную шею и гладкое брюхо.
И шепчут озимые вслед ей: “Мы — хлеба краюха...”
У атомной лодки есть имя — “Святая Елена”,
она сквозь взрыхлённую землю и пресную вену
плывёт на восход, где не всходят ни солнце, ни травы,
где реки чётвёртую длинную зиму кровавы.
“Святая Елена”, всмотрись в меня, слева по борту
я еду домой из ближайшего аэропорта,
дорога в две сотни намоленных километров,
но я не хочу говорить с тобой, словно я жертва.
“Святая Елена”, сопроводи меня до границы,
мне было, когда началось это, первые тридцать,
сейчас мне почти тридцать пять, и это не больно.
Граница, где надо стоять, чтобы после в игольное
ушко просочиться, достав истрёпанный паспорт.
“Святая Елена”, как жаль, ты не рейсовый транспорт,
а то мы могли бы с тобою, минуя таможню
по снежному полю, по вечному бездорожью
бескрайней земли бороздить плодородную плоть,
слушая шёпот озимых: “Мы — хлеба ломоть...”

* * *

Прямая речь, как рейс Ростов — Москва,
застрянет горлом чёрная треска
на Краснопресненской в каком-то кабаке...
Свези меня по замершей реке
пить красное усталое вино,
смотреть, как в омут, в жёлтое окно,
ходить по белым мраморным полам,
по минным заколдованным полям.
Ходить на кожаном коротком поводке,
держи меня в ежовом кулаке,
в грудном кармане или за щекой,
как рыбий жир, как символ запятой,
которой места в тексте не нашлось.

Держи меня — как шар земной — за ось,
держи — как мать Ахилла — за пяту
на кружевном заснеженном мосту.
Держи меня, держи, не отпускай,
мой брат, мой мальчик, мой красивый Кай
из края абсолютного нуля.
Держи меня, как держат журавля.

РЕКВИЕМ

Как уходят герои? Молча.
Растеряв все рефлексы волчьи.
Вместо слёз для них — море горечи,
вместо роз для них — залп тройной

холостыми, и серый в штатском
что-то скажет нам о солдатской,
о судьбе двух народов братских,
пофильтрует с седой вдовой.

А над кладбищем, там, где дымка,
реют ангелы-невидимки,
их не видно на фотоснимках,
но ты слышишь шуршанье крыл.

Это ветер в густых берёзах
прячет наши с тобою слёзы.
Наша жизнь — череда наркозов
да пролитых на лист чернил.

Развяжи мои губы словом,
я парю над изрытым полем,
я привык, что тобою болен,
я привык уже умирать.

Я лечу, и мне светят звёзды,
и рябины алеют гроздья,
и вся жизнь теперь то, что поздно,
то, что вряд ли воротишь вспять.

* * *

Сама не знаю, как я их пишу,
как будто и дышу, и не дышу.
И буквы, превращаясь в отпечатки,
канючат их под утро отпечатать,
предать огласке, высвободить пядь,
как будто словом можно повлиять.

Но точно можно обозначить время,
суровость быта, свист в печной трубе.
Прошу, мой свет, ни слова о войне,
ни слова про завышенную цену,
которую приходится платить,
нанизывая бусины на нить.

Ни слова про поджилки и юродство,
про вечное безденежье в плену,
про то, как пустошь, топи, целину,
сверяясь по картинкам садоводства,
я еженощно превращаю в книги,
не применяя тяпки и мотыги.

Одни лишь пальцы, стёртые к утру,
и если я когда-нибудь умру,
во что не получается поверить,
ты помни, что мои стихи, как двери,
в замочной скважине которых — круг Луны
и облака донецкие видны.